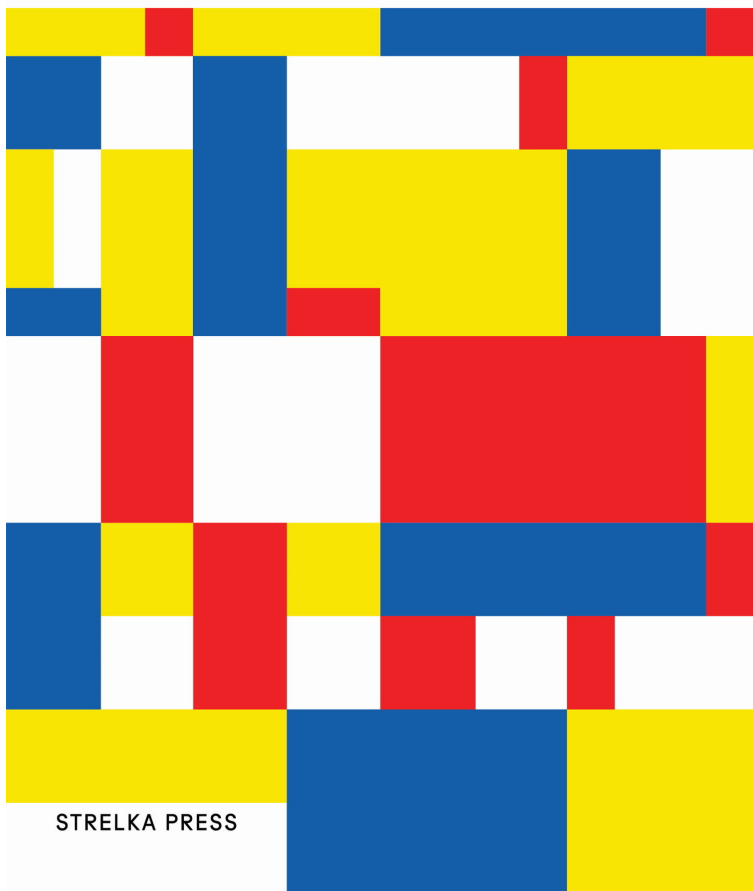


ГРИГОРИЙ РЕВЗИН КАК УСТРОЕН ГОРОД



STRELKA PRESS

Григорий Ревзин

Как устроен город

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=55446960

Как устроен город. 36 эссе по философии урбанистики / Григорий

Ревзин: Стрелка пресс; Москва; 2019

ISBN 978-5-907163-15-7

Аннотация

Город полезно уметь видеть и понимать, без этого от него трудно получать удовольствие. Иногда это касается даже родного города. Из чего состоит город? Что такое улица, переулок, площадь, бульвар, сквер, что такое зелень и вода в городе, как живут в городе власть, бизнес, культура, производство, торговля, как возникли кварталы и микрорайоны?

Ответы на эти вопросы – в новой книге Григория Ревзина.

Содержание

От автора	4
Вступление	8
Город и его смысл	8
Знак четырех	17
1. Власть	26
Проспект	26
Квартал	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Григорий Ревзин

Как устроен город. 36 эссе по философии урбанистики

От автора

В 2017 году директор института «Стрелка» Варвара Мельникова предложила мне написать серию очерков о современном городе для непрофессиональных медиа. Чтобы включить урбанистику в число предметов, относящихся к сфере *general interest* – как политика, деньги или погода. В ответ я предложил серию очерков о городе вообще. К моей большой радости, она, поколебавшись, согласилась. Я искренне благодарю ее как за инициативу, так и за толерантное принятие того обстоятельства, что наше слово всегда отзывается не так, как мы предугадывали.

Елена Нусинова, главный редактор журнала Weekend и главный редактор почти всех моих текстов на протяжении последних 20 лет, счастливо для меня согласилась публиковать эти очерки в журнале. Андрей Курилкин, главный редактор издательства Strelka Press, увидев первый очерк, сказал: «Отлично, а потом, когда вы закончите, я соберу очерки и издам книжку». Эта счастливая перспектива в принципе

маячила передо мной, пока я публиковал свои эссе, но отдаленно и необязательно. Мне была предоставлена полная свобода в выборе и тем, и последовательности очерков. Каждый, кто когда-либо попадал в такую ситуацию, поймет мою благодарность за атмосферу свободного комфорта, в которой я пребывал целый год.

За нее я и расплатился по итогам работы. В один прекрасный день Елена Нусинова позвала меня к себе, предъявила мои опусы, собранные вместе, и сказала примерно следующее. Вот ваши очерки. Для журнала каждый из них был неплох, я их редактировала и печатала. Но вместе это не книжка. Вернее, это очень плохая книжка. Много повторов, нет структуры, читатель не понимает, куда вы его ведете и зачем. Можете отдать это Курилкину, но я бы не советовала вам так поступать. А ему это издавать.

Я хочу поблагодарить Елену Нусинову как за благожелательную мягкость, с которой она относилась к моим текстам, пока я их писал, так и за жесткость, неожиданно обозначенную в итоге. Сдерживая слезы, я забрал свои статьи, начал их перечитывать и с мазохистским удовольствием обнаружил, что она совершенно права. Ничего не получилось. После этого я переписал весь текст – примерно на три четверти, уже как книжку.

Я вновь передал текст Елене Нусиновой, которая на этот раз нашла его более приемлемым. Но хорошо узнав за 20 лет совместной работы мою способность запальчиво преуве-

личивать собственную эрудицию, безобразно путать имена, места, даты и авторство цитат, категорически посоветовала мне обратиться к научному редактору. Я ответил не без надменности, что уже попросил прочитать свой текст члена-корреспондента РАН, профессора Владимира Седова, и он уже прочел (пользуюсь случаем выразить ему благодарность за это) и даже исправил две ошибки. На что Елена Нусинова ответила, что он – ваш самый старый и верный друг, слишком хорошо к вам относится (пользуюсь случаем выразить ему благодарность и за это тоже) и это нас ни от чего не гарантирует.

Так в работе над этой книжкой появилась Мария Сарабьянова. Я глубоко восхищен серьезностью и ответственностью, с которыми она работала с моим текстом. Меня отчасти согревает то обстоятельство, что давным-давно аналогичную работу проделывал ее дед, Дмитрий Владимирович Сарабьянов, бывший научным руководителем моего диплома и диссертации. Невольно вспоминается античный миф о семье, которой богами помимо прочего было назначено ухаживать за рощей, вечно норовившей произвести бракованные плоды.

В исправленном виде текст, наконец, и был передан Андрею Курилкину, который отнесся к нему благосклонно, за что ему отдельная благодарность. Он, правда, выразил осторожное удивление противоречивостью текста. Получилась монография с жесткой структурой, будто учебник, но каж-

дая ее часть – это такое импрессионистического свойства эссе с поэтическими цитатами.

Пытаясь разрешить это противоречие, я предложил Андрею сменить название книги «Как устроен город» на менее менеджерское – «Поэтика города». Ведь поэтика – это и есть описание того, как устроено произведение, а некоторый привкус поэтичности в названии позволил бы увести ожидания читателя от градостроительного *manual*'а. Но не прошло. Андрей нашел такое название устаревшим, отталкивающим молодежь, а кроме того, разрушающим все договоренности. Поскольку проект с самого начала – еще с идеи Варвары Мельниковой – назывался «Как устроен город» и в нем менялось многое, но не имя.

Ну что же, отмеченное Андреем противоречие действительно есть. Но прочитав множество текстов о том, как устроен или как должен быть устроен город, авторы которых, возможно бессознательно, вдохновлялись воинским уставом или уголовным уложением (и даже написав несколько таких же), я, пожалуй, результатом скорее удовлетворен. Если в гражданском кодексе сохраняются некоторые черты, роднящие его с чтением на *weekend*, то, возможно, это способно несколько подкупить читателя *of general interest*.

Вступление

Город и его смысл

Животные городов не строят, город – произведение человеческое. То есть он должен быть разумен. При этом он скорее таким не выглядит. Не только для обычного человека, натыкающегося на интриги улиц, но и, как мне кажется, для людей, занимающихся городами профессионально. В городе масса случайного, непредсказуемого, не имеющего разумных оснований. То есть город – это порождение разума, которое неразумно.

Таких вещей много. Человеческая история, политика, экономика в силу видимой абсурдности рождают бесконечные попытки их объяснить. Город тоже создает логики его объяснения.

Был такой американский урбанист Кевин Линч, любимый герой Вячеслава Глазычева, переведившего его книги. Одна из них, «Совершенная форма в градостроительстве», начинается с типологии городов: город как символ, город как механизм и город как органическая форма.

Город как символ – это город-круг, квадрат, звезда, параболла, прямая линия и т. д. Толкование таких символов – увлекательнейшее занятие, и история градостроительства от

Вавилон до Версаля полна таких толкований. Круг может толковаться как солярный символ, женский символ, символ мировой гармонии и т. д., и это важно, но важнее то, что толкование в принципе возможно. То есть что у города есть смысл, и этот смысл кем-то задан. Символ же не может возникнуть сам собой, кто-то должен был сказать, что это символ. Город как символ предполагает автора – им может быть или правитель, или архитектор, и у нас будет случай вернуться к сходству этих фигур.

Город как механизм – это девайс с примерно четырьмя функциями. Это жилье плюс средства поддержания и воспроизводства жителей плюс производство плюс управление. С точки зрения проблемы разумности городской материи это прекрасная логика – город оказывается глубоко рациональным. Логически это похоже на город как символ, потому что девайс тоже сам собой ниоткуда не возьмется. У него тоже есть автор, только он другой. Эта модель города возникает довольно поздно, это порождение индустриализации (впервые ее, насколько я понимаю, описал Тони Гарнье в книжке «Индустриальный город», изданной в 1917 году). Можно сказать, что на место автора-художника или мага, который соотносил город с законами мироздания путем символических действий, здесь становится более прогрессивный и практичный автор-инженер, который уже знает эти законы и в соответствии с ними строит город как завод по производству лучшей жизни. Впрочем, вскоре наступило время тоталитаризма.

литарных обществ, маги вернулись и опять начали строить символические города.

И символических, и функциональных городов существует довольно много (в особенности функциональных). Однако сказать, что проблема разумности города решается через обращение к символической или функциональной логике, не получается. Точнее, не вполне получается.

У «авторской» логики объяснения городов есть недостаток. Авторский замысел не столько объясняет город, сколько враждует с ним. Вернее сказать, город воюет с авторским замыслом, а автор более или менее безуспешно обороняется. Когда мы говорим о некоем замысле города – Риме Ромула или Петербурге Петра, Приене Гипподама или Зеленограде Игоря Покровского, – то этот замысел в реальности всегда, увы, оказывается искаженным, непонятым и утраченным. Когда же мы говорим о видимом, актуальном произведении архитектора или власти в городе – сталинской Москве, османовском Париже, Риме Сикста V, Москве Собянина, – то это результат насилия над существующим городом, его радикальная трансформация. Получается, что есть отдельно замысел, а отдельно город. В таком случае «город» – это какая-то неразумная, необъяснимая материя, с которой борется ее смысл. Это не смысл города, а попытка привнести смысл в город.

Но в случае с символами в силу их неясности и расплывчатости конфликт между городской материей и смыслом го-

рода не критичен. С функцией все хуже. Функциональная теория города делает его инструментом для изготовления чего-то. У инструментов, в отличие от произведений художников, есть одна особенность. Когда они устаревают, их выбрасывают. Можно, конечно, хранить лопату XVI века в музее этнографии или техники, но никому не придет в голову хранить все старые лопаты. Инструменты можно выбросить, но город выбросить трудно. И если приходится выбрасывать город, то возникает сомнение, что мы правильно вложили в него смысл.

Многие едут полюбоваться Флоренцией, мало кому приходит в голову ехать полюбоваться шахтами функционального Ленинска-Кузнецкого.

А если мы с меркой механизма подходим к городам, в которых все хорошо и куда хочется поехать, то оказывается, что это очень плохие механизмы. В них много лишнего, не объяснимого функциональной логикой. Как будто механизм зарос какими-то мхами и лишайниками, переулками и закоулками, лавками и киосками. У большого градостроителя иногда возникает желание как-то это все побрить и почистить. Однако именно эта ткань нефункциональности обеспечивает городу его «невыбрасываемость» – то есть бессмысленная часть ткани города обеспечивает его жизнь. Это оскорбительно для разума.

Отчасти в полемике с функциональной теорией города родилась идея третьей формы города – органической. Так

что, хотя у нее есть некоторая предыстория в паркостроении, она тоже начинается с 1910-х годов. Смысл здесь в допущении, что город – это не механизм, а организм. Он зарождается, развивается, стареет и, вероятно, умирает, подобно живому существу, хотя вопрос о смерти города более или менее открыт. В отличие от городов, созданных на основе идеи функциональности, органические города – например, Тель-Авив, генплан которого придумал основатель органической теории города Патрик Геддес, – чувствуют себя более или менее неплохо, хотя тут нужно учитывать, что их построено значительно меньше. Тем не менее это прекрасная идея, и Линч считает, что именно органические города – лучшая форма для жизни людей.

Недостатки этой логики – продолжение ее достоинств. Город-организм – это метафора, и нужно понимать не только то, чего мы достигаем, перенося на город биологические образы, но и что теряем. Теряем мы, разумеется, все тот же Разум. Если город и организм, то ведь довольно-таки простой. Патрик Геддес, кстати биолог по образованию, мыслил его на уровне между классами колониальных и многоклеточных – у него, если посмотреть тот же план Тель-Авива, клетки города почти не дифференцированы, хотя есть некие русла городского метаболизма. Два российских градостроителя – Илья Лежава и Алексей Гутнов – существенно развили эту логику, выявив куда более сложную морфологию. Они разделили город на каркас, ткань и плазму на основе различий

в скорости обновлений этих трех типов. Каркасы меняются веками, ткань – десятилетиями, плазма – годами. С точки зрения практической урбанистики это замечательное достижение.

Вернусь ко второй принципиальной книге Линча, к «Образу города». Там главный инструмент – ментальные карты. Линч предлагал людям по памяти рисовать городское пространство, в котором они живут, потом сопоставлял разные рисунки и таким образом выяснял интересубъективный образ пространства у городских сообществ. Так родился второй ряд понятий о ключевых феноменах города – граница, путь, ориентир, узел и район.

Это до известной степени ответ на вопрос, как в органическом городе присутствует человек разумный. Граница здесь может быть не стеной, путь – не улицей, а узел – не площадью. Это ментальные образы, хотя не обязательно высказанные и осознанные. Это не вполне сознание, а скорее поведение: человек, двигаясь по привычному маршруту, очень мало думает о структуре пути, действуя скорее по инерции. Но в любом случае это не органика простого многоклеточного организма.

Вячеслав Глазычев в книге «Лицо города», написанной в соавторстве с Алексеем Гутновым, а точнее дописанной после его смерти, соединил два эти ряда понятий (Линча, напомним, он переводил). «Совмещение разных попыток понять „весь“ город позволило, во всяком случае, увидеть, что

у него есть „каркас“, устойчивый, мало изменяющийся за века, и есть „ткань“, куда более подвижная, переменчивая. Каркас способен к развитию за счет своей устойчивости, тогда как городская ткань не столько развивается, сколько переживает бесчисленные метаморфозы: перестраиваются дома, преобразается структура внутриквартального пространства, магазины и клубы, фабрики и парки сменяют друг друга... Мы стали различать: „путь“, прокладываемый каждым в отдельности и всеми вместе через толщу города; „ориентир“, позволяющий всякий момент уяснить, какую точку в системе координат города мы ощущаем под ногами. Мы увидели „район“, границы которого отнюдь не обязательно совпадают с юридическими границами района или микрорайона, но он явно имеет какой-то собственный центр. Мы заново осмыслили понятие „границы“, по ту и другую сторону которой городская среда видоизменяется ощутимым образом. И еще раз мы... осознали, что есть в городе „узлы“ – сгустки человеческой активности, у которых есть собственная энергия развития».

Так соединять эти феномены, наверное, можно, но вообще-то это два разных понятийных ряда. Понятия первого ряда – это строение города как организма. Понятия второго ряда – это представления (или паттерны поведения) людей о городе, в котором они существуют. И они не очень связаны. Узлы бывают в плазме, ткани или только в каркасе? Путь совпадает с каркасом? Район – это ткань, каркас или вообще

город в городе, раз у него есть граница и даже свой центр?

Перефразируя поэта, скажем, что на подвижной лестнице Ламарка город занимает если не последнюю, то предпоследнюю ступень. Даже с учетом открытий Гутнова – Лежавы и синтеза Глазычева город как организм все равно оказывается не сложнее, скажем, медузы. Честно сказать, и до медуз далеко. Этот организм может жить, но не может думать – мозга тут нет. А люди, которые как раз думать могут, как-то существуют внутри этого организма, передвигаются, скапливаются в узлах, натываются на границы – на правах то ли микрофлоры, то ли питательных веществ.

Нельзя сказать, что такая органика вызывает ощущение гармонии с природой. Понятие «урбанист» теперь означает деятельность по обустройству городов, но изначально оно имело несколько иное значение. «Из всех российских футуристов еле-еле нашелся один урбанист. Я, конечно, говорю о Маяковском», – пишет Корней Чуковский. Образ города-спрута, поедающего своих жителей, не то чтобы так уж редок. Он, если согласиться с Чуковским, возникает в самом начале российского урбанизма. Прочитирую то стихотворение Маяковского, которое, видимо, имел в виду Чуковский:

Адище города

Адище города окна разбили

на крохотные, сосущие светом адки.

Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,

над самым ухом взрывая гудки.

А там, под вывеской, где сельди из Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечеряющем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.
В дырах небоскребов, где горела руда
и железо поездов громоздило лаз —
крикнул аэроплан и упал туда,
где у раненого солнца вытекал глаз.
И тогда уже – скомкав фонарей одеяла —
ночь излюбилась, похабна и пьяна,
а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

Варианта два: или городу человеком насильственно навязан смысл, или город – некий организм, который бессознательно поедает проживающих в нем горожан. Да ведь в сущности, это одно и то же представление: просто в одном случае перед нами дрессированная, взнузданная смыслом медуза, а в другом – медуза свободная, растущая как ей угодно. Хотелось бы все же объяснить город как человеческое пространство.

Знак четырех

Классическая проблема истории градостроительства – кто создает город?

Прочитую Вячеслава Глазычева: «Существует устойчивое представление об историческом происхождении города от разрастающегося села. Это заблуждение. Даже в тех случаях, когда город возникал на месте удачно расположенной деревни или усадьбы, как это было с Москвой, это издревле был хорошо планируемый процесс, осуществлявшийся властью».

То есть основателем города является власть. Для России это взгляд само собой разумеющийся: большинство российских городов возникали как административные центры. Однако примерно ту же идею можно найти у историков римской античной архитектуры, больших французских историков, скажем, у Жака Ле Гоффа, относительно Средних веков и, разумеется, историков архитектуры европейского абсолютизма.

Но вместе с тем.

Макс Вебер в своей книге «Город» доказывает, что город не создается властью, а, напротив, противостоит ей. Город – это инструмент обмена. Город образуется из рынка, рынок является его центральным элементом. Той же идеи придерживалась и Джейн Джекобс, страстный проповедник рыноч-

ной, а не административной природы города. Благодаря ей этот взгляд стал более или менее общепринятым не для историков городов, но для теоретиков. И если говорить о важнейших западных городах, как Венеция или Нью-Йорк, или о множестве средних и мелких исторических городов Германии, Бельгии, Голландии – собственно всех ганзейских, – то они возникают не усилиями королей и императоров, но из рынков торговли на дальние расстояния.

Но вместе с тем.

Льюис Мамфорд, историк, философ, один из основателей урбанистики, предлагал иную точку зрения. Он считал, что основная функция города – хранение и передача культурной информации, это инструмент воспитания цивилизацией, а функции архива и обучения – это функции святилища. Основа города – святилище. Храмовые центры как ядро города мы встречаем прежде всего в городах ближневосточных цивилизаций – сегодня идея возникновения города из храма для этих городов является более или менее общепризнанной. Однако и в Средние века центром города может являться монастырь или собор. Кстати, удивительно, что Вебер, прославившийся открытием связи между типом хозяйства и религией, в своей книге о городе не упоминает собора. Это трудно объяснить иначе как религиозной тенденциозностью: не заметить собора в средневековом городе трудно. Но у него с духом капитализма была связана протестантская этика, религиозные институты католиков не были ему

так интересны. Сегодня множество городов существуют как города-музеи, а музей – дериват храма, да и возникают они часто именно из городов-святилищ.

Но вместе с тем.

Нельзя забывать, что есть классическая марксистская точка зрения на происхождение городов. С точки зрения Маркса, разделение труда и возникновение класса рабочих (ремесленников) и торговцев, не связанных с сельскохозяйственным производством, есть необходимое условие возникновения города в любую эпоху. Эту точку зрения развивал автор термина «урбанистическая революция» (возникновение городов) Гордон Чайлд: он подробно прослеживает процесс возникновения отдельной группы ремесленников в неолитической деревне, потом отделение ремесленного и земледельческого труда от торговли и, соответственно, возникновение города в конце неолита. При некоторой архаичности этой системы взглядов вовсе сбросить ее со счетов трудно – все же без разделения труда города быть не может.

Так все же кто создает город? Власть? Рынок? Церковь? Фабрика?

У нас был историк, философ, социолог и футуролог Игорь Васильевич Бестужев-Лада. В 1970-е годы он для нового Генерального плана Москвы делал социологическую модель городского сообщества. Эта работа, к сожалению, осталась не очень востребованной – Генеральный план 1971 года был выстроен на функциональной модели города. Я позволю се-

бе привести цитату из его интервью.

Тогда все трудоспособное население города очень четко делилось на четыре примерно равные группы. Первая – чиновники и их обслуга. Вторая – наука, культура, в целом интеллигенция. Третья – рабочие. Четвертая – сфера обслуживания. Огромную надежду партийные деятели возлагали как раз на вторую группу, интеллигенцию. Рассчитывали, что именно благодаря ей Москва (а затем и страна) сможет плавно войти в постиндустриальный мир. Но исследования нашего института показали, кроме того, что 80 % ученых были заняты в ВПК, еще 12 % – в идеологическом обслуживании власти (марксизм-ленинизм и прочая псевдофилософия) и только 8 % занимались реальной наукой. От 60 до 90 % ученых (в зависимости от отраслей) вообще были не способны участвовать в научном процессе. То есть это был балласт, который затем, кстати, и стал основой перестроечных процессов. И эта группа постоянно накачивалась детьми рабочих или выходцами из провинции (как и категория начальников). В результате в среде рабочих образовался страшный дефицит рабочих рук, и с начала 70-х годов было принято решение устроить так называемый лимит, который для Москвы составлял 80–100 тыс. человек в год. Таким образом, к началу 90-х в Москву прибыло около 2 млн лимитчиков. К чиновникам, милиции и прочей обслуге власти ежегодно прибавлялось 12–14 тыс., по своим интеллектуальным качествам они мало отличались от лимитчиков. Ни о каком вхождении

Москвы в постиндустриальный мир уже не было и речи.

Его прогноз о том, что Москва не сможет стать постиндустриальным городом, не оправдался, она стала довольно-таки успешным постиндустриальным городом. Правда, основа ее «экономики знаний и услуг», что является определяющим для этого понятия, – административный ресурс, и это несколько путает теоретические карты. Но меня интересует сам принцип анализа. Это простая эмпирика. Бестужев-Лада не подходит к исследованию жителей Москвы с какой-то социологической моделью, он не использует ни одного принятого шаблона описания населения. Он не говорит, что в Москве было столько-то молодежи, пенсионеров, людей с высоким уровнем доходов, мужчин, детей. Он нестрого обрисовывает, кто чем занимался.

И у него появляются четыре группы населения. Люди власти, интеллигенция, то, что он назвал сферой обслуживания (это, в принципе, торговля), и, наконец, рабочие. Но это ровно те, кого разные исследователи считают основателями городов.

Не знаю, знал ли Игорь Васильевич текст, который я процитирую дальше. Подозреваю, что знал, но мне бы хотелось, чтобы перед нами было случайное совпадение.

Индуистские Веды являются древнейшим памятником человечества. Ригведа, в частности, датируется XVII–XI веками до н. э. Это сборник религиозных гимнов. Десятый раздел Ригведы посвящен сотворению мира из тела Пуруши,

он называется Пуруша-Сукта. Мир изначально представлял собой одно антропоморфное существо, гиганта Пурушу, который принес себя в жертву и был расчленен богами таким образом, что из него возникла вся живая и неживая материя. Люди были нарезаны из четырех разных частей Пуруши и образовали четыре группы. Соответствующий фрагмент гимна звучит следующим образом:

Когда разделили Пурушу, на сколько частей он был разделен?

Чем стали уста его, чем руки, чем бедра, ноги?

Брахманом стали его уста, руки – кшатрием,

Его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра.

Таким образом, четыре основные касты – это брахманы (жрецы, философы), кшатрии (воины, светские правители), вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие). Бестужев-Лада пересказал Веды.

Мы можем проследить эти четыре группы на всем протяжении существования городской цивилизации. В Москве XX века они вычлняются так же легко, как в Лондоне XVIII века в картинках Хогарта, Нидерландах XVI века в картинах Брейгеля, в римском скульптурном портрете – где угодно. Они столь привычны, что им даже трудно удивиться. Но на самом деле это более чем изумительно: оказывается, горожане делятся на четыре типа так же устойчиво, как, скажем, люди – на мужчин и женщин.

Если принять идеи великого французского мифолога Жоржа Дюмезиля, три касты из четырех определяют индоевропейскую цивилизацию. Пантеон индоевропейцев, по Дюмезилю, типологически одинаков в древнеиндийской, скандинавской и греко-римской мифологиях. Его ядро – это три божества: Верховный Судья, Верховный Воин и Бог Плодородия. За ними стоят три касты – жрецы, воины и земледельцы (вайшьи изначально – это и земледельцы, и торговцы). Более или менее понятно, почему нет ремесленников: индоевропейский пантеон – это догородская цивилизация. Кстати, мне кажется, из-за этого обстоятельства рабочие не имеют своего божественного покровителя, чем во многом определяется их поведение в городе.

Для современной урбанистики важна тема сообществ – их изучают, описывают, воспитывают, вовлекают и т. д. Это интригующий процесс, но здесь есть два вопроса. Один в том, делятся ли все горожане на сообщества без остатка или есть такие, которые не принадлежат ни одному сообществу. Покамест байкеры, любители кактусов, болельщики, велосипедисты и прочие охватывают не больше 3 % городского населения, а остальные ни к каким сообществам не приписываются. Второй – в том, чтобы определить, как ценности сообществ влияют на городскую среду. Еще с велосипедистами все более или менее понятно, но остальные вовсе не заявляют свои ценности в городских пространствах. Город сообществ выглядит скорее исследовательской утопией, чем ре-

альностью, во всяком случае в странах, переживших индустриальную урбанизацию.

Мне кажется, продуктивнее считать, что в городе живут не сообщества по интересам и даже не территориальные сообщества (соседи попросту не знают друг друга), а профессиональные сообщества. У них есть общие ценности, общая повестка дня. Например, если умер какой-нибудь урбанист, то урбанисты узнают об этом раньше экономистов, а филологи могут и вовсе не узнать. И хотя профессиональных групп очень много, в основе они, на мой взгляд, могут быть сведены к четырем кастам, как у Бестужева-Лады. Филологи, урбанисты, философы и т. д. – это всё жрецы, а военные, чиновники и работники силовых министерств – это всё власть.

Быть может, какая именно группа из четырех основывает город – это неправильный вопрос? Возможно город появляется тогда, когда встречаются все четыре?

Смысл города – это не его замысел. Смысл города – это конкуренция. Город – это места обмена ценностями между четырьмя группами горожан. Улица, дом, площадь, парк, бульвар, квартал, памятник, школа и т. д. – это поле конкуренции, своего рода правила поведения в пространстве, где они встречаются. Говоря словами институциональной экономики – это институты, и город есть система институтов. Каждая из групп хочет переформатировать каждый из институтов по-своему и тем самым получить конкурентные преимущества. Группы вступают в альянсы или ведут борьбу.

бу. Торгующих изгоняют из храма (и от станций метро), жрецы то славят, то проклинаят власть, рабочие перестраивают мир, жрецы пытаются восстановить его первоначальный облик – это все бесконечно интересно. Но мне кажется, чтобы понимать суть происходящего, нужно очертить каждую из групп ценностей. Что я и попытаюсь сделать.

1. Власть

Проспект

Трезубец на Пьяцца-дель-Пополо в Риме, где сходятся три проспекта, Корсо, Бабуино и Рипетта, задуман Сикстом V в 1580-е. Тогда же Андреа Палладио спроектировал первый европейский театр – театр Олимпико в Виченце. Сцена Олимпико – это схождение трех улиц в створ триумфальной арки и площадь перед ней. Можно сказать, что сцена Палладио – это Рим Сикста. Если учесть, что на Пьяцца-дель-Пополо еще в начале XIX века осуществляли публичные казни (что довольно эффектно описано в «Графе Монте-Кристо»), то можно представить себе, какой городской театр придумал папа Сикст.

Проспекты театральны. Этот театр в Европе так устроен, что, где бы ни находился зритель, город – на сцене, и на него смотрят извне. Так же как набережная или бульвар, проспект выбрасывает вас в позицию внешнего наблюдателя, быть может, не представляющего себе хитросплетения городского спектакля, но зато обладающего знанием о мире за его границами. Зритель, как бы туп он ни был, обладает горизонтом большим, чем у героя: он не умирает, когда опускается занавес, – напротив, тогда он начинает действовать.

Формальное искусствознание требует различать красоту осязательную и зрительную. Там много на этом выстроено: противопоставление Ренессанса и барокко, классицизма и эллинизма, итальянского и немецкого чувства формы. Проспект – это, конечно, красота зрительная, это изобретение барокко, само слово происходит от латинского *prospectus* – «вид». Но в этой зрительной красоте есть осязательный момент. Взгляд приобретает пластику холодного оружия, разрезающего толщину города, и если разрез точен, то это почти физическое удовольствие.

Проспект – это нечто, что возникает поверх. Город уже или есть физически, или мыслится как нечто менее существенное, что потом как-нибудь нарастет, главное – пробить проспекты. Если город прямоугольный, выстроенный в гипподамовой системе, проспекты идут по диагонали, никак не соотносясь с конкретным квадратом квартала. Если город «органический», то есть улицы следуют хитросплетениям рельефа и прав собственности, то проспект прямой.

Сикст V, который, собственно, и придумал проспекты, соединил проспектами главные христианские святыни Рима и в створе каждой улицы на площади перед церковью установил обелиск – как восклицательный знак: вот, сюда иди, здесь важное место. Объяснялось это заботой о паломниках, чтобы они не следовали лабиринтом средневековых улиц, а организованно маршировали от мощей к мощам, от чуда к чуду. Это нечто вроде «топ-10» римских святынь, только не

в путеводителе, а непосредственно в пространстве, рефлексия Рима на предмет выделения самого главного.

Проспект – это осмысление города, резюме его пространственной структуры, выстраивание логики – набора аксиом и правил вывода – непосредственно в физической реальности. Аксиомы – главные места города, проспекты – правила вывода. Людовик XIV, второй после папы Сикста создатель трехзубца проспектов, трех улиц, сходящихся в Версале (символической точкой схода была комната короля), недаром зовется королем-солнцем. XVII век – время популяризации гелиоцентрической системы, взглядов Галилея и Коперника. Для людей, далеких от астрономии: это такая история, что центр мирового порядка оказался вообще не на Земле и основание мирского порядка – не крепость, но система координат. Для утверждения такого необычного взгляда на вещи понадобилось больше ста лет, но когда он утвердился, надо было действовать. В Версале, помимо разнообразной солярной символики, эта сетка и проложена – сквозь поселения, леса, воду и землю. И точно так же произошло в Петербурге. Твердью, основанием города оказывается не рельеф, не социальный порядок, не экономика, но система координат на абстрактной плоскости. Все остальное может меняться, здания – строиться и сноситься, люди – рождаться и умирать, но все будет происходить в этой сетке.

Проспект – не улица. Не слишком важно, есть ли на проспекте магазин, кафе, церковь. Их может вообще не быть

– Невский проспект сначала обозначался только линиями деревьев, дома достроились потом. Проспект воздействует именно как перспектива – рамой входа, структурой порядка по краям и точкой схода, шпилем, обелиском или триумфальной аркой. Проспект – это городской телескоп, устройство для соизмерения города с пространством вообще. «Есть бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью бегущих пересекающихся призраков. Весь Петербург – бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же – ничего нет». Это – «Петербург» Андрея Белого, переживание точное и острое. «Ничего нет» – это пустота пространства как категории, *nihil* предъявленной абстракции Космоса.

Разумеется, такой проспект – это манифестация абсолютной власти. Само прорезание городской ткани прямыми есть прямое насилие, прежде всего над людьми. Отчуждение земельной собственности и разрушение зданий до того было обычной мерой в отношении тех, кого коммуна объявляла преступниками и изменниками, папский эдикт 1480 года приравнял к ним тех, чьи земли были нужны для общегородских нужд. Современники с ужасом описывали градостроительные преобразования Сикста V: «В душах многих людей, чьи виноградные поля и сады попали под линии улиц, поселился ужас и страх, ради прямых дорог головы летели с плеч». Но это власть не только над людьми. Сама земля была препятствием идеальной геометрии проспектов – как писал

Доменико Фонтана, папа Сикст «протянул улицы от одного конца города к другому, не учитывая холмы и низменности, которые эти улицы пересекали, срезав здесь и повысив там, он сделал их ровными и потому самыми красивыми пространствами...» И так действовали все строители проспектов, вплоть до Муссолини, Гитлера и Сталина, проспекты в этом смысле – незаживающие раны, нанесенные властью.

Они не заживают в буквальном смысле. Рисунок Разума на земле работает так же, как рисунок естественного ландшафта. Чем власти больше, тем проспекты шире, и перейти с одной стороны проспекта на другую – это деяние. Жители левой стороны Ленинского проспекта – самые редко встречающиеся посетители Парка культуры среди москвичей. Жители Дорогомиловской полагают Сити дальним пригородом на горизонте. Проспекты работают в городе как урочища, овраги, каналы – они разделяют его на несообщающиеся части.

И потому люди, нацеленные на органическую, естественную жизнь в городе, проспектов избегают. В позднесоветское время среди интеллигенции была распространена своеобразная игра – пересечь город, ни разу не выходя на широкие улицы. Дворами, переулками, сквериками, через заборы – лишь бы нигде не попасть в координаты власти. Это немного напоминает атмосферу «1984» Оруэлла: мы движемся через слепые зоны в зрении Старшего брата. Сегодняшний урбанизм всячески пытается залечить проспекты – озеленить,

обставить лавочками, фонарями, пересечь пешеходными переходами, все это напоминает тщательно обработанный косметикой шрам.

Проблема в том, что проспект – не просто насилие, но насилие прельстительное. В политологии принято различать две стратегии элиты – установление нужных ей правил исключительно для себя или в виде всеобщего законодательства. Проспекты власть прокладывает, конечно, для себя; как выразился король Фердинанд Неаполитанский, «узкие улицы – это опасность для государства». Бенито Муссолини, разрубивший римские форумы проспектом Империи (теперь *Via dei Fori Imperiali*), объяснял замысел так: «прямая улица не дает нам потеряться в меандре гамлетических сомнений»; проспект оказывался метафорой политического действия.

Но проспекты нельзя проложить так, чтобы ими могли пользоваться только король, гвардия и министры, а остальные их как бы не видели, – нет, они становятся частью всеобщих законов городского пространства.

Проспект – «иное» города, он извлекает вас из органики повседневности и заставляет воспринимать его в одиночестве и извне. Но отличие в том, что это не постороннее наблюдение – это вы режете его взглядом, выделяете самое главное, отправляя дорогие подробности жизни на периферию зрения. Проспект – это место, где вы со смущением обнаруживаете в себе родство с абсолютной властью.

Конструкция математических координат, логика и иерархия ценностей, рисунок Разума – это то, что делает нас людьми. Проспект – это манифестация супер-эго города.

Квартал

Кварталы – это клетки городской ткани, материал, из которого строится городской организм. Я даже, вслед за Патриком Геддесом, сказал бы, что строение этой клетки определяет качества города. Некоторые города имеют строение простейших, а в некоторых клетки достигают известной морфологической сложности.

Для истории градостроительства обычный вопрос – является ли клетка прямоугольной и, соответственно, выстроен ли город в регулярной сетке или следует рельефу и выстроен из кварталов свободных форм. Геддес именно второй случай полагал «органическим городом». Честно говоря, я не думаю, что степень органичности среды зависит от регулярности сетки: города барокко, скажем, на Сицилии, или классицизма в Испании отличаются средой в высшей степени органичной, а города с тщательно выстроенной в 1960-е планировкой по ландшафту – например, Фирмини, спроектированный Ле Корбюзье, или наш Владивосток – бывают на редкость противоестественными. Регулярность сетки – это не вопрос органики ткани, это вопрос о власти.

Я не знаю ни одного города с одним прямоугольным кварталом – их всегда несколько, они всегда следствие деления целого на одинаковые части, и это деление должен осуществить кто-то извне. Но при всей значимости этого вопро-

са мне он представляется вторичным. Вообще, то, что мыслится прямоугольным, совсем не обязательно является таковым. Сергей Радонежский ясно высказался, что монастырь должен быть выстроен по образу Небесного Иерусалима, и поскольку в Откровении Иоанна Богослова прямо сказано, что Град Небесный «расположен четверугольником, и длина его такая же, как широта», то и Сергей велел строить монастыри «убо четверообразно». Все русские монастыри с тех пор изображают Небесный Иерусалим, и ни в одном не получилось построить прямоугольных стен. Это прямо какой-то рок: сказано «четверообразно», а на деле какой-то блин. Но все же вряд ли это вызвано органической неспособностью русского архитектурного гения произвести правильный квадрат. Видимо, гуляющие за извилами рельефа стены казались древним зодчим в достаточной степени прямоугольными.

Важна не форма клетки, а то, как устроена граница и что у клетки внутри. Хотя, конечно, когда рассматриваешь планы древних городов – Вавилона, египетской Гизы, Милета, японской Нары – и сравниваешь их с Барселоной, Парижем, Лос-Анджелесом, то это немного поражает, поскольку они неотличимы. Прямоугольные кварталы, чуть различные по форме и размерам, равно свойственны древним империям, республикам, просвещенным монархиям, буржуазным демократиям и тоталитарным мечтателям. Как будто вся история городского человечества в ее высших проявлениях – это про-

сто тетрадка в клетку.

Но эти квадратики кварталов заполнены разным содержанием. В древних городах Месопотамии, Египта, Греции и Китая этот квадрат – просто частное владение. И осваивается оно так же, как садовый участок: сначала строятся высокие стены, чтобы никто не увидел, что внутри, к этим стенам пристраиваются жилые помещения, и все они выходят в центральный двор, патио, где, собственно, проходит жизнь кроме сна – там собирают воду, там бассейн, там готовят еду и т. д. Вообще, древние города были, видимо, в большей степени похожи на мусульманские махалли – кварталы Узбекистана или Туниса, которые сохранили античный идеал непосредственно до сегодняшнего своего массового уничтожения средствами индустриального домостроения. Узкие переулки на одного осла с упряжкой, высокие глухие каменные стены, пахнет сухой горячей гнилью, в праздник по улицам течет кровь казнимых баранов, орут одуревшие от нее кошки и собаки, а внутри, за заборами, – дворцы, фонтаны, сады, бассейны, восточная нега и послеполуденный отдых фавна. Поразительным образом мы воспроизвели ту же структуру пространства в дачных поселках на Рублевке, только каменные заборы заменяет старый добрый профнастил.

Чтобы получить европейский квартал, понадобилась тысячелетняя эволюция. И связана она была с тем, что европейские народы, в отличие от южных, никаких кварталов не знали и жить в них не желали. У них было совершенно

иное устройство коллективного пространства, основанное на ином изобретении – «длинном доме», который нам известен по скандинавским раскопкам.

Планы ранних европейских городов (скорее деревень) хорошо исследованы, Анри Пиренн описал их еще в 1920-1930-е годы, а позднее они были детально исследованы великим французским историком Жаком Ле Гоффом. Если совсем просто, то структура там такая. Через город идет лента дороги. А к ней, как флажки, привязываются участки отдельных владений. Эти участки узкие и длинные, с задней стороны они ничем не ограничены и могут быть длинней или короче – кому как надо. Но они ограничены с боков – соседями, на главной дороге у всех одинаковая ширина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.